

АНРИ ЛЕФЕВР

Другие Парижи¹

Существует банальный Париж, Париж, который легко доступен. Для туристов? Не только для них. Многие парижане принимают на веру распостраненный образ своего города: доступного, презентабельного и, следовательно, «нормального» и «самоочевидного» Парижа. Культура не играет здесь большой роли. Сколько «культурных» парижан довольствуется беглым просмотром *Semaine de Paris* или различных еженедельников, чтобы узнать, что происходит в столице Франции?

Когда-то все жили семьями и бок о бок с соседями, и все тогда знали свой район, потому что они вели в нем, по сути, деревенскую жизнь или что-то вроде того. (В исходной форме социальной практики в старых крестьянских обществах «окружение» сохраняло свой *непосредственный* характер: не было никаких форм опосредования или, скорее, они оставались отдаленными). Ограниченная жизнь, но не без своих прелестей: каждый ощущал поддержку и, несмотря на пристальный надзор, мог рассчитывать на то, что ему подадут руку помощи. Это были дни, когда мы говорили или пели ностальгически: «Как прекрасна была моя деревня; мой Париж, наш Париж... Все мы говорили на одном языке, тебя всегда понимали!»

Сегодня в Париже, который теперь необычайно разросся, включив в себя многочисленные пригороды, проживает множество людей со всего света: студенты, туристы, те, кто оказывается в нем проездом, и те, кто задерживается в нем на какое-то время, деловые люди и т.д. Вавилонская башня или великий Вавилон? В легендарном, монструозном городе каждый имеет некий свой путь (из квартиры в школу, контору, на фабрику) и не слишком хорошо знаком с остальным. Эти знакомые путешествия составляют часть повседневной, практичной и обнадежи-

¹ Henri Lefebvre, 'Les autres Paris,' *Espaces et sociétés* 13–14, October 1974-January 1975, pp. 185–192.

¹ Этот текст послужил основой для 26-минутного цветного документального фильма 'Le Droit à la Ville', снятого в 1975 году Жаном-Луи Бертучелли.

вающей, но более ограниченной в сравнении со старой общинной жизнью. А что с образом города? Наивно считать, что преобладающий образ похож на тот, что сформировался в сознании прохожих. Бродить по современному городу, погружившись в «думы одинокого прохожего», приятно, но не более того, и вскоре такое занятие наскучивает, если оно не сочетается с другими интересами и проявлениями любопытства. Для большинства людей образ города ограничивается банальностями, касающимися больших магазинов, мест, которые они посещают или которых они избегают. Неоднозначность и сложность городской реальности сводится к простой схеме. В прежние времена монументы играли важную практическую роль: они организовывали окружающее пространство и притягивали или отталкивали четко определенные категории людей. Примером могут служить приходские церкви. Не утрачивая эту роль, монументы приобрели еще и *иконическую* роль. Они служат полезными ориентирами и символами. В необычайно протяженной ткани города они играют роль ключевых точек, привязывая «узор» к земле и удерживая взгляд в ряде горизонтов и перспектив. Вынужденная иметь дело с ростом числа зданий, больших и малых, Монументальность защищается и приобретает новое значение, парадоксальным образом остающееся конкретным в море абстракции, абстракции анонимных мест и безликого снования туда-сюда.

Париж имеет свою икону – Эйфелеву башню. Кто ее не знает? Этот странный символ имел странную судьбу; творение инженера, который был слишком смелым для своего времени (а с тех пор прошло почти сто лет!), пережило перемещение. С технической точки зрения, башня устарела. Возведенная как огромное здание, вызов металла камню и инженера архитекторам, она стала похожа на монумент, произведение архитектуры. Меньше чем за сто лет технический объект, который в свое время был технологическим манифестом, превратился в произведение искусства; ему приписываются эстетические качества: элегантность, гибкость, женственная привлекательность. Благодаря этой иконе видимый Париж приписывает эти качества и себе. Во всем мире люди привыкли видеть башню, возвышающуюся над Парижем, и Париж, лежащий у подножия башни. Эта ассоциация стала бесспорной: Париж стал «окружением» Эйфелевой башни; отсюда его популярность, которая находит отражение во всевозможных фотографиях, открытках и более или менее возмутительных «китчевых» объектах. Как икона, он кажется рациональным. Его окружает город, основанный на разуме, с картезианскими линиями и горизонтами, образующими однородное пространство, которое при этом не выглядит грубым.

Процесс, благодаря которому привилегированный объект наделяется такой означающей силой, ведет к упрощению схемы, к крайней степени бедности: вид Парижа как зрелище с вершины башни, лежащий у ее подножия и вокруг нее. Зритель (турист или наивный парижанин) забывает, что город щедро подарил свои качества этой иконе

и что зрелище — тривиальное, хотя и очаровательное — не вправе подменять собой эту реальность. Ведь иконы и символы на этом и основаны, на определенной практической пользе и необходимости в ориентирах и запоминающихся образах.

Эйфелева башня имеет своих соперников: другие монументы предлагают себя в качестве кандидатов на роль иконы: Собор Парижской Богоматери, Церковь Сердца Христова, Триумфальная арка и т.д. и т.п. Когда один из этих кандидатов добивается успеха, провозглашается икона: понятная, поучительная, упрощенная. Париж превращается в религиозный город, военный город, политический город. И город действительно вмещает все это, но еще и многое другое!

Город может основываться и расти в соответствии с простым планом и структурами, заданными раз и навсегда: например, сеткой из квадратов или прямоугольников, за которыми закреплены определенные функции — церкви или храма, дворца правителя или принца, места, отведенного для торговцев и т.д. Так построены многие города в Азии и Латинской Америке. Другие города имеют более гибкую форму, бинарную структуру: город богатых и город бедных, политический город и город рабочих, дворцы и хижины и т.д. <...>

Так где же находится банальный, «обычный» Париж за пределами наших ментальных образов? Несомненно, в процветающих районах, с их современными, прямыми улицами и идеально выстроенными фасадами, которые образуют благородные, монотонные виды; в Париже Наполеона и Османа, если говорить более определенно.

Это, по-видимому, требует комментария относительно истории фасадов и выстраивания и группирования домов в соответствии с законами перспективы. На протяжении многих веков ни фасады, ни выстраивание по прямой не имели большого значения. Прямые линии не нужно было дополнять изогнутыми или игрой воображения в последовательности зданий. Иногда это сохраняется на старых улицах (например, *rue des Archives*: изгибы, широкие тротуары, деревья, уличные кафе и т.д.). В Средние века дома ремесленников и купцов одной стороной выходили на улицу (навесы, магазины), тогда как вся жизнь велась во дворе или в саду. В те времена монументы имели фасады (которых у них не было в Древней Греции, где все стороны были одинаково важны). Фасады монументов определяли площадь или непосредственное окружение, позволяя тем, кто контролировал их, видеть определенное пространство и быть видимыми, когда они снисходили до этого. Позднее частные здания (резиденции знати, дома буржуазии) подражали монументальным фасадам в меньшем и более скромном масштабе; по официальным правилам, которые устанавливались для улиц, фасады (которые становились все менее и менее разнообразными) должны были гармонизировать друг с другом, так что индивидуальность ограничивалась лепной и декором. В буржуазную эпоху по планам Наполеона (Османа) фасады достигли наивысшей точки своего развития и абсурдности. Улицы состояли из

почти одинаковых фасадов. Различия, ушедшие *внутрь* улиц, перестали быть зримыми или осязаемыми, несмотря на похвальные или забавные попытки архитекторов приложить свои мозги к их разработке. Созданные для того, чтобы любоваться ими, фасады проиграли в «зрелищности» проспекту, улице, анонимному местоположению. Несложно взять улицу (скажем, *rue d'Assas*) и показать: ряд фасадов, их возраст, поколение и разнообразие, удовольствие и скуку от созерцания неизменного вида, упадок и полный крах фасадов последних зданий (функциональных, технических, специализированных и т.д.).

Но фасад имеет еще одно значение. Возведенные для того, чтобы смотреть на них (и позволить смотреть с них, с балконов и из окон), фасады лгут. Что лежит за этим зрелищем, за этой декорацией? Что скрывают эти прямые улицы? Нутро зданий за этой украшенной поверхностью содержит немало сюрпризов. Всякий, кто проникнет за эту ширму, откроет нечто совершенно иное: иногда очаровательное, но гораздо чаще никчемное; короче говоря, вещи, которые не видны проходим через окна. В каждой квартире «формальные» комнаты, где производится прием посетителей, гостиная, столовая, комнаты, окна которых выходят на улицу, скрывают комнаты, в которых ведется повседневная деятельность, считающаяся недостойной дневного света, даже постыдной: кухня, ванная комната, туалет и т.д.

Выстраивание перспективы сопряжено с «инсценировкой» повседневной жизни; оно организует ее; *сцена* определяет *обсценное*, то, что должно быть не здесь, а там: мы не раздеваемся на улице или в гостиной, мы занимаемся любовью на супружеском ложе (как принято считать); мы едим в столовой, но мы не готовим в ней. Распределение ролей в повседневной жизни не является функциональным в функционалистском смысле, но оно необычайно жестко определяет деятельность в пространстве с целями камуфляжа и представления в квазитеатральной манере; обстановка и стили мебели (остекленный кабинет, двуспальная кровать, комод, сервант, стол и т.д.) подчиняются этому привычному порядку подчеркивают его, монументально организуя пространство вплоть до малейших деталей. И этот порядок скрывается, но также раскрывается (в силу своей предписанности) фасадом.

Фасад, таким образом, обладает множеством «свойств»; это не просто более или менее украшенная поверхность. Он характеризует образ жизни. Он определяет городское пространство и его использование (то, каким образом оно «используется»). Он обладает властью; он содержит скрытое насилие, способность к подавлению, не только в своей зримости/прочитаемости, но также в разделении между тем, что скрыто, и тем, что выставлено напоказ, и, следовательно, между частным и публичным, разделении, которое скрывает определенные социальные отношения: отношения буржуазного общества и капиталистического способа производства во время их становления в XIX веке во Франции вообще и в Париже в частности.

Париж богатства и власти также сокрыт и труден для прочтения, хотя наметанный глаз (но не какой-либо другой) способен расшифровать его. Этот вездесущий и замаскированный город, подлинная «столица» (т.е. столица столицы), предлагает одновременно Я-идеальное (диктуемое местами, в которых хочет жить каждый, потому что те, кто не принадлежит к «сливкам общества», надеются найти там воплощение своих грез) и идеал Я (роль превосходства и таланта, которая требует какой-то врожденной одаренности и каких-то приобретенных качеств).

Большие боссы, по-настоящему богатые, олимпийские божества, не выставляют себя на всеобщее обозрение. Места, которые они заполняют своим присутствием и властью, откуда они осуществляют свое влияние, невидимы. Но кое-что их выдает: частные парки и сады, монументальные ворота и входы, признаки роскоши и особенно самой большой роскоши — доступного пространства, доступного времени. На скромной улице (например, *rue Monsieur*) за простой на вид стеной скрывается дворец; сверхэлитарные резиденции, вроде этой, невозможно даже увидеть с улицы (дом доктора Дальзаса, *rue Saint-Guillaume*). Сильные мира сего проживают в *hotels* — особняках, размеры и значение которых не всегда очевидны (дворец архиепископа Парижа, *rue Barbet de Jouy*).

Над Парижем рабочего класса и Парижем средних классов, полубуржуазии, над «кварталом знаний» и деловым районом стоит власть, Париж власть имущих, правящей элиты, старых и новых капитанов буржуазии, Париж *dolce vita* и власти ради власти. Но насколько он достигаем или проницаем? Опытный взгляд способен хотя бы угадать его, ощутить его, проследить его очертания в пространстве.

Под простым, повседневным Парижем лежит подземный Париж. Мы говорим о канализации? Катакомбах? «Отбросах», включая людские останки, мертвых, безумцев? Париже бессознательного и бессознательном Парижа? Да, если угодно, но прежде всего мы говорим о городе бедности, заслуженной и незаслуженной бедности. Маргинальный Париж? Эти слова ничего не значат. В большом городе много видов бедности, а в большом Париже много бедных районов. Метафоры, вроде «маргинальности» или «подполья», только помогают скрывать то, что кому-то очень хочется скрыть.

Рабочие районы обладают «живописностью», которая делает их занимательными и которую нам бы хотелось видеть и в других местах и даже перенести в «пустыню» облагороженных районов, используя специально нанятых для этого людей. Но живописность рабочих районов между станциями метро Бельвиль и Couronnes не требует каких-то специальных усилий. Что за ней стоит? Можно ли связать ее просто с «живостью» или витальностью?

Прежде всего, не скрывая его до конца, она содержит соперничество, часто острую борьбу (связанную с классовой борьбой и положением «рабочих» при капитализме), которая, тем не менее, имеет выраженный этнический характер. В этих «оживленных кварталах» между

арабами и евреями, иммигрантами и экспатриантами существует постоянная напряженность, часто, хотя и не всегда, выливающаяся в столкновения, стычки и скандалы.

Гетто иностранных работников не подпадают под привычные категории оживленности городской жизни. И вряд ли кто-то из выходцев из Северной Африки, существующих во Франции в положении иммигрантов, способен во всех красках описать свою жизнь на бумаге. Франция сегодня, подражая самым отвратительным чертам американской модели, превращает «омерзительное в рыночную стоимость и делает из рабства обычай». В гетто жертвы расовой и пространственной сегрегации сами вынуждены защищать себя; тот, кто приходит извне, воспринимается как враг, агент репрессивных органов; если же это журналист (который может иметь самые благие намерения), кинорежиссер или социолог, люди говорят с ним «стерильным» языком. Как можно проникнуть в эти цитадели гнева и враждебного молчания или выразить в рациональных понятиях брожение, которое ускользает от привычных критериев, по которым узнаются социальные и политические силы? «Иммигрантские гетто — это область глубокой, непроницаемой тьмы», — писал Мустафа Сала в своем неопубликованном тексте. Здесь сталкиваются агенты из стран происхождения, представители торговцев запрещенным товаром, полицейские, представители «сопротивления» и мафии, которые занимаются всем, что может быть продано (включая женщин). Гетто говорит на непонятном языке; невозможно оценить его страдания, но также его редкие радости и очарование; организация пространства ускользает от исследования, как она ускользает от «ценностей» чужого, то есть французского, общества.

Подпольные Парижи ведут жизнь, которая кажется «инфраповседневной» в сравнении с жизнью «нормальных» людей, но все же повседневной, приспособленной к бедности и «забракованности» (капитализмом, Западом и «французскостью»).

Гетто иностранцев и иммигрантов — это не единственные гетто. Также существуют гетто хиппи (часто считающиеся нежащими на солнце на *quais*), гетто попрошайек, проституток, наркоманов. Это все гетто? Изолированные «очаги»? На пути к ним стоят какие-то указатели? «Специализированные» пространства? Существует множество нюансов между «ненормальной» и «нормальной» жизнью, между успокаивающим и возбуждающим, ординарным и трагическим. Иногда экстраординарное раскрывается в ординарном. Обычно этого не случается, но когда это все же происходит, это становится темой для новостей.

Непросто описать Париж и его преобразования без обращения к прошлому, без впадения в ностальгию и стенаний о потерянном рае. Когда-то, полвека тому назад, все (Париж и Иль-де-Франс, французская деревня и вся Франция, французское отношение к природе и т.д.) было лучше. Сто или двести лет назад красота была во всем — красота природы и средневековый или монарший блеск.

Все эти стенания не имеют отношения к действительному прошлому; сто лет назад вместе с красотой в трущобах Парижа царствовал туберкулез. Чем была *Belle Epoque*? Буржуазным мифом, идеологией, призванной скрыть настоящее, оправдывая буржуазию, приписывая загадочному «декадансу» или не менее загадочной «современности» разрушительное воздействие спекуляции, концентрации и воли к власти.

И все же, трудно показать Париж и говорить о нем, не упоминая о следах его утраченного величия. Монументы (и символы) предают прошлое, потому что они создают веру в неувядающую красоту, в то время как жизнь — форма жизни — исчезла навсегда, а ее следы не говорят нам практически ничего. Если не считать того, что они позволяют нам мечтать.